



Елена Арсеньева

Царственная блудница

«Автор»

2009

Арсеньева Е. А.

Царственная блудница / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2009

ISBN 978-5-699-38008-4

В то время как против России зреет новый заговор, в который, вопреки собственной воле, оказывается вовлечен блестящий красавец, отвергнутый фаворит ветреной императрицы Елизаветы Никита Афанасьевич Бекетов, сама государыня занимается нарядами, подбирает себе новых кавалеров и устраивает пышные балы. При дворе царит обычная неразбериха, сталкиваются различные интересы, осуществляются рискованные авантюры, но Никита Бекетов до сих пор верен своей страсти, а там, где в дела государственные вмешивается любовь, можно ожидать всего, что угодно.

ISBN 978-5-699-38008-4

© Арсеньева Е. А., 2009

© Автор, 2009

Содержание

| | |
|---|----|
| Пролог | 5 |
| 1755 год | 11 |
| Санкт-Петербург | 16 |
| Имение Лизино, вблизи Санкт-Петербурга, | 23 |
| В пути от Парижа до Санкт-Петербурга, | 27 |
| Имение Лизино, вблизи Санкт-Петербурга, | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 34 |

Елена Арсеньева

Царственная блудница

Пролог

1741 год

Санкт-Петербург

– Ваше высочество, довольно уже прятать голову как курица под крыло!

Арман Лесток, лекарь и доверенное лицо царевны Елизаветы, срывался редко, но коли такое уж происходило, начисто забывал о приличиях. Впрочем, если в любую другую минуту он спохватился бы и прикусил язык, то сейчас продолжал являть собой Зевса-Громовержца в припадке гнева.

– Я не под крыло прячу, я под подушку, – послышался жалобный голос, и из вороха пуховиков, перин, ватных одеял, нагроможденных на широкой и высокой кровати, высунулась растрепанная рыжая голова. – А если ты меня еще раз курицей назовешь, то и сам с головой простишься.

– Первое дело, ваше высочество, – высокомерно (впрочем, уже тоном ниже) промолвил Лесток, – я вас курицей не называл, а только с оной сравнивал. А второе – я был бы счастлив отправиться на плаху по повелению *вашего величества*, – он выделил голосом эти два слова, – но... но...

– Лучше помолчи, – мрачно проговорила рыжеволосая женщина, отирая заплаканные глаза. – Договорись мне! Знаю, что ты хочешь сказать!

Лесток зыркнул на нее из-под насупленных бровей злыми глазами и... проглотил то, что так и рвалось с языка. А рвалась с него русская пословица: «Бодливой корове бог рогов не дает!»

Да уж... Тридцатилетняя царевна, младшая дочь Петра Великого и самая законная наследница русского престола, то именуемая торжественно – Елисавет, то пренебрежительно зовома Елисаветкою, имела все шансы не только навсегда остаться в неизвестности и забвении, но и быть заживо похороненной в монастыре. Ну что же, это самая обычная доля русских незамужних царевен, тем паче если они сами отвергают иноземных женихов. А между тем и бывшая императрица Анна Иоанновна, и нынешняя правительница Анна Леопольдовна каких только усилий не прилагали, чтобы спровадить из России эту засидевшуюся в девках, но отнюдь не в девичестве, слишком рано созревшую красотку!

Бывало, Анна Иоанновна, большая любительница карточных игр и пасьянсов, нарочно их раскидывала, приговаривая:

– За кого Елисаветке замуж идти, за валета или за короля? Нет, за короля ей больно хорошо будет, с нее и валета довольнехонько. Ой, пошли, Господи, для Елисаветки какого ни на есть захудаленького герцога из Немецкины или Дании! Да позахудалей, победней, поуродливей! самого жалконького!

Господь, однако, свой слух от сих пожеланий отвращал. Ни жалконького, ни богатейшего герцога во исполнение планов Анны Иоанновны он не посылал.

Не то чтобы императрица была так уж обуреваема извечно свойственной каждой женщине склонностью податься в свахи и устроить чужую судьбу. Нет! Слишком опасна оказалась эта пышногрудая синеглазая попрыгунья! Опасна для мужчин, которые едва сдерживались (а иные даже и не сдерживались вовсе), чтобы не протянуть дрожащие от нетерпения руки к

ее гибкому и полному стану, к этим самым грудям, которые так и выпрыгивали из корсета... Опасна для женщин, у которых она отбивала любовников не глядя, даже не прилагая к этому никаких усилий: просто сверкнет шалым синим оком – и готово, был твой кавалер, а стал обо- жатель Елисаветкин!..

Но пуще всего она оказалась опасна тем, кто восседал на русском престоле. Ибо так скла- дывались после смерти Петра Первого обстоятельства, что непременно находился там какой ни на есть случайный человек. Ну ладно, Екатерина Алексеевна (Марта Скавронская тож), вдова Петра, она была хотя бы родной Елисаветкиной матушкой и если не оставила младшей дочери трона, то лишь потому, что в ту пору Лизка была еще сущей девчонкою, это раз, а главное дело, что светлейший князь Александр Данилович Меншиков (ну да, тот самый Алексахка, неко- гда торговец пирогами) с пеной у рта просил у умирающей императрицы (это мягко говоря – просил, на самом-то деле на хрип давил!) за внука Петра Великого и сына несчастного царе- вича Алексея. Звали малого тоже Петром Алексеевичем, а интерес в нем для генералиссимуса Алексахки (мальчик-царевич почтительно звал его батюшкой) состоял в том, чтобы пристро- ить за Петрушку свою старшую дочь Марью, которую за красоту прозвали «мраморной ста- туйей». И добился же проныра-светлейший подписи умирающей императрицы на именно таком завещании! Другое дело, что это не принесло ему счастья, и прекрасной Марье не принесло: сплавил их едва подросший жених в Березов, в Тобольскую губернию, гнусу на прокорм, – оттуда ни дочь, ни отец не воротились.

На некоторое время судьба вроде бы улыбнулась Елисаветке, потому что юный импера- тор Петруша в тетушку свою влюбился почти до самозабвения... однако вот именно – всего лишь почти! Слишком ревнив и самодурен оказался мальчишка, а тут еще подсутился Алек- сей Григорьевич Долгорукий, сменивший Меншикова в качестве «батюшки» Петра, и подсу- нул ему свою дочь Екатерину... Уже была объявлена свадьба и принесены поздравления, уже Елисавет, смирив гордость и гордыню, приседала перед будущей императрицею с потуплен- ными глазами и чуть ли не ручку ей целовала, как вмешалась судьба, перетасовав все карты, которые сдала сначала участникам этой игры. Петр в одночасье умер, а всех Долгоруких, а средь прочих и государеву невесту Екатерину, новая царица Анна Иоанновна спровадила в ссылку или в тюрьму, где они и сгинули, кто надолго, кто и вовсе навеки.

И вот тут-то начались для Елисавет самые большие страхи, потому что Анна Иоанновна в племяннице видела главную угрозу своему благополучию как женщины – и как императрицы. Ее фаворит Бирон увлечен был рыжей царевной, посещал ее... якобы для того, чтобы за ней приглядывать: а не замышляет ли чего недоброго против правительницы?

Иногда государыня Анна Иоанновна возносила молитвы совершенно иного свойства.

– Господи, – твердила она, – окажи свою милость, вовлеки Елисаветку во грех, внуши ей злоумышление противу престола! Ведь тогда ее запросто можно сослать куда Макар телят не гонял! Ведь отправился туда по моему повелению ее не в меру заносчивый любовник Алексей Шубин. Уж слишком хорошо этот офицеришка помнил, что Елисаветка носит отчество Пет- ровна и в ней, так сказать, горит искра Петра Великого! Слово-то какое! – сердито плевалась Анна Иоанновна и продолжала мечтать: – Или в монастырь бы ее!..

И все же Анна Иоанновна пока не поймала Бирона на горячем, к тому же Елисавет так старательно притворялась, будто она тише воды и ниже травы, что и сама в это поверила.

И гораздо была на оправдания, ну дальше некуда! Вот совсем недавно нашли у регента ее хора, Ивана Петрова, загадочные и опасные бумаги: письмо о возведении на престол рос- сийской державы (кого – не указывалось) и отрывок какой-то пьесы о принцессе Лавре. Под- вергнутый допросу регент уверял, что первая бумага – текст концерта, который исполнялся в день тезоименитства Анны Иоанновны, а пьеса (она была написана на украинском языке) предназначалась для домашней постановки.

Ответы были признаны убедительными, регента отпустили.

Вслед за тем заключили в тюрьму одну из прислужниц Елисавет по обвинению, что она дурно говорила о Бироне. После скорого следствия девушку били плетьюми и заключили в монастырь.

– Сечь кнутом и заключать в монастырь следовало не прислужницу, а госпожу! – вскричала Анна Иоанновна, живо интересовавшаяся дознанием.

Но вот императрица отправилась к праотцам, однако положение Елисавет легче не стало. Анна Леопольдовна, воссевшая на трон, была, конечно, добродушна и глуповата, однако ее любовник Морис Линар, красавец, щеголь и, как бы между прочим, саксонский посланник, не раз и не два советовал избавиться от непристроенной царевны как можно скорей.

Анна Леопольдовна, аналогично своей предшественнице, начинала было возносить молитвы о жалконьком немецком либо датском герцогишке, однако Морис Линар с ней спорил что было сил.

– Да ее не просто замуж надо выдать! Ее надо арестовать! – настаивал Линар.

По счастью, Анна Леопольдовна была слишком поглощена своей страстью к обворожительному Морису и своим счастьем, чтобы сделать кого-то несчастным, и дальше пустых угроз дело пока не шло.

Но вполне могло пойти!

Елисавет трепетала от страха. А вместе с ней трепетали все, кто служил ей, кто был ей близок, кто не забывал о ее правах. Например, ее врач, поверенный всех тайн цесаревны Арман Лесток, коего, случись что, еще прежде госпожи поволокли бы в каземат. Неуютно чувствовал себя также французский посланник Иоахим Шетарди, который совсем недавно поселился в России. Он, конечно, даже не посмотрел бы в сторону столь безнадежной в политическом смысле особы, как Елисавет (даром что она была редкостная красотка, а он, как и положено истинному французу, норовил галантно заглянуть под всякую мимо идущую юбку), кабы однажды не случилось вот что.

Явился к Шетарди его добрый приятель, шведский посланник Нолькен, и между прочей болтовней сообщил интереснейшую новость:

– Хочу доверить вам важную тайну, друг мой. Я получил от своего правительства сто тысяч талеров и волен истратить их по своему усмотрению!

– Ого! – завистливо облизнулся Шетарди, который, как всякий француз, был не дурак крепко погулять, тем паче – на дармовщину. – Если вы ищете компаньона, то вот он.

– О нет, мой друг! – с истинно шведской флегматичностью улыбнулся Нолькен. – «Истратить» – это означает не в карты проиграть или не прокутить, а использовать для поддержки интересов Швеции в России.

– А какие нынче у Швеции вдруг образовались в России интересы? – легкомысленно спросил Шетарди. На самом деле под флером легкомыслия крылась немалая издевка: Шетарди имел в виду, что с тех самых пор, как шведы потерпели поражение от храбреца Петра Первого, им больше нечего ждать от России веселого.

Нолькен был толстокож, как всякий северянин, а потому тонкого французского ехидства не распознал и конфиденциальным тоном сообщил:

– Мне приказано, по моему выбору, либо финансировать правительницу Анну Леопольдовну на ее престоле, либо содействовать амбициям герцога Курляндского, прозябающего в Пелыме, либо... либо поддержать забытую принцессу, дочь Петра.

Шетарди знал, что герцог Курлянский, Бирон, был сослан в Пелым после смерти Анны Иоанновны. А принцессой Нолькен на свой европейский манер называл Елисавет...

Шетарди озадачился.

«Сто тысяч талеров, Пресвятая Дева! – почти испуганно думал он. – Это очень большие деньги. И если шведы готовы их потратить на Елисавет... ого, дело пахнет самым настоящим

заговором! А ведь у Анны Леопольдовны родился сын – как бы наследный император. Значит, это будет свержение законного правительства...»

И Шетарди немедленно кинулся строчить донесение кардиналу Флэри, своему непосредственному руководителю, сообщая ему эту скандальную весть. «Но одними деньгами дело не делается, – торопливо писал он, доказывая, сколь искушен в делах организации комплотов вообще, а российских – в частности, – нужны преданные Елисавет люди. Нужна поддержка народа! А русские преданы императору – любому, старику или младенцу! – только потому, что он рожден на троне. Они это называют *romazannik boggi*», – щегольнул Шетарди национальным русским выражением. Однако Флэри не оценил его лингвистических способностей, попросту сказать – не обратил на них никакого внимания. Да и способность давать политические оценки не была должным образом оценена. Шетарди получил из Франции категоричное письмо: «Надо думать, что, пока император жив, не может быть и речи о претензиях Елизаветы на российский престол. Поэтому всякие рассуждения об этом в настоящее время излишни».

Прочитав письмо де Флэри, Шетарди щелкнул каблуками и стал держаться с Елисавет не в пример прохладней, даром что она обхаживала его как могла.

Правда, делала она это не как претендентка на престол в отношении возможного и очень сильного союзника, а скорей как женщина – мужчину, который ей по нраву. Но Шетарди чисто-плотно уклонялся от обхаживаний всякого рода.

А между тем Нолькен, который обладал весьма прохладным мужским, но весьма жарким политическим темпераментом, не унимался. Он склонился потратить сто тысяч талеров именно на Елисавет – ведь ее поддерживали гвардейцы. В отличие от Шетарди, Нолькен понимал, что это очень мощная движущая сила российских дворцовых переворотов.

– Именно гвардейцы некогда помогли Меншикову отстоять интересы Екатерины I и охладить противников ее воцарения, – рассуждал сам с собой швед. – Гвардейцы помогли Анне Леопольдовне спровадить с престола регента – Бирона. Почему бы им не встать теперь на сторону Елизаветы, которая только и делает, что пропадает в казармах: ест и пьет с гвардейцами, крестит их детей и выбирает из числа гвардии себе любовников?..

И вот Нолькен явился к Елисавет.

– Ваше высочество, – сказал он, отвесив почтительный поклон, что очень насторожило Елисавет, с которой все посланники раскланивались весьма небрежно: лишь бы в царевнино щедрое декольте заглянуть, а какая при таком раскладе может быть почтительность?! Да ровно никакой. – Ваше высочество, конечно, шведам не за что благодарить вашего отца, однако это был великий человек, и мне больно видеть, как дочь его прозябает в неизвестности. Вы должны знать, что я поддерживаю ваши притязания на престол.

– Притязания? – непомерно удивилась Елисавет. – Но у меня нет никаких притязаний!

В самом деле – о престоле она почти и не мечтала. Лишь бы ее не трогали, не мешали жить так, как ей хочется, – на большее она и не думала притязать!

– Это очень печально, ваше высочество, – сурово проговорил Нолькен. – Очень печально! У дочери вашего отца непременно должны быть притязания, потому что именно вы – законная наследница престола. Вы должны взойти на него любым путем, и если надо – с помощью комплота.

– Комплота? – растерянно повторила Елисавет.

– Ну да! – нетерпеливо воскликнул Нолькен. – Я хочу сказать, заговора!

Елизавета ошеломленно уставилась на Нолькена. Она не могла поверить своему счастью. Ей чудилась в этом предложении милость небес!

Однако очень вскоре Елисавет пришлось спуститься с этих самых небес на землю. Нолькен обнажил, так сказать, свое естество: в смысле, показал восхищенной царевне... истинную причину заговора.

– Разумеется, – проговорил швед, прохладно улыбаясь, – вам придется нелегко. Сопротивление правительницы и ее армии неизбежно. Поэтому, как только начнется переворот, Швеция введет в Россию свои войска для поддержки вашего высочества.

Елисавет растерянно хлопнула глазами и хотела сказать, что, может, она и силами гвардейцев обойдется, однако Нолькен продолжил:

– Взамен Швеция хотела бы получить – после вашего воцарения, разумеется! – все те земли, которые были завоеваны вашим отцом в ходе Северной войны: Лифляндию, Эстляндию, Ижорские земли, часть Карелии и Моонзундские острова.

Елисавет даже руками всплеснула. Ее восхищение рыцарственностью шведов резко пошло на убыль. Ничего себе рыцарственность! Да ведь это сущая обираловка! Всего-навсего переиначить итоги Северной войны! Победы Петра Великого в этой войне превращали Россию в великую державу Европы, а после так называемой помощи шведов страна лишалась всего завоеванного! Да, Елисавет должна была дорого заплатить за свое воцарение.

Дорого? Не то слово! Цена показалась ей вовсе непомерна...

– Да ведь и ставка велика. Ваш престол. Ваша власть. Ваша жизнь, в конце концов! – убеждал Лесток, которому Елисавет не замедлила рассказать о требованиях Нолькена. Шведу же был дан обтекаемый ответ: «Мне надо подумать». Подумать и в самом деле было о чем. – Что вас смущает, я не пойму?! Вы и так получите под свою руку огромную, чрезмерно огромнейшую страну! Дай бог бы с ней управиться без всяких северных земель.

– Но ведь это завоевания моего отца, – изумленно взглянула на Лестока Елисавет. – Сколько крови за них пролито! Отец – идол души моей, я не могу предать его. А ты меня к этому толкаешь. Между тем кому, как не ему, обязан ты своим возвышением?

Вообще-то это была правда. Арман Лесток, служивший некогда всего лишь солдатским лекарем, понравился императору за бойкость и был приближен к трону, а потом и поставлен в личные врачи Елисавет.

– Да кто тут говорит о предательстве? – несколько попятился француз, обиженный тем, что его заподозрили в черной неблагодарности. – Я предлагаю вам всего лишь совершить ловкий и хитрый вольт. Пообещайте Нолькену все, чего он хочет, а потом... Потом скажете, что не сможете исполнить обещание. Ничего не придется отдавать.

– Да надо мной хохотать в той же Европе станут! Ложь да хитрость на базаре хороши.

– А также и в политике, – резко ответил Лесток. – Обещание цесаревны, загнанной в угол, не имеющей никаких надежд достичь престола – а именно такой вас сейчас видит Европа! – и обещание российской императрицы – это два разных обещания. Уверяю вас, что вам простят обман. Победителей не судят, а победительницей в этой игре окажетесь именно вы.

И все же Елисавет колебалась. Поэтому между ней и Лестоком подобные перепалки вспыхивали беспрестанно, ибо Нолькен требовал ответа. И вот наконец доктор застал свою госпожу в состоянии крайнего уныния. Она с утра не вставала – об этом доложил Лестоку верный страж покоя цесаревны Василий Чулков... иногда он исполнял при ней также и обязанности более интимного свойства, и в этом не было ничего удивительного, потому что эти обязанности чаще или реже приходилось исполнять почти всем мужчинам, бывшим на службе у цесаревны, в том числе в свое время (давно минувшее, кстати!) и Лестоку.

– ...Не вставала, и даже когда швед наведалься, не поднялась, – сообщил Чулков. – Как лежала ее головушка на подушечке, так и лежала.

– И что же швед? – насторожился Лесток, вмиг смекнувший, что речь идет о Нолькене.

– Да что? – развел руками Чулков. – Потоптался в приемной – и отправился восвояси, несолоно хлебавши.

Лесток вспылil и ворвался в царевнину опочивальню, готовый устроить скандал.

Тут он обнаружил, что положение, описанное Василием Чулковым, несколько изменилось.

Ну разумеется, он сорвался сначала, но после взял себя в руки и придержал язык. Помолчал и, наконец, спросил хмуро:

– Отчего вы к Нолькену не вышли?

– А о чем мне с ним говорить? – огрызнулась цесаревна, медленно выпрастывая из-под одеяла ножку, спуская ее на пол и шаря в поисках стоптанной туфельки. – Он ведь письменного обещания от меня ждет.

– Какого письменного обещания? – озадачился было Лесток, но тут же сообразил, о чем идет речь. – Неужели?!

– Да, подпишите, говорит, бумагу, что отнятые земли воротите. Тогда все для вас сделаем, – горько вздохнула Елисавет. – Я ему говорю, как же, мол, я это сделаю, ведь меня тогда мой же народ проклянет. А он в ответ: народ ваш отходчив и забывчив, сами знаете. Поскольку отходчив, простит свою императрицу Елисавет Петровну. А поскольку забывчив, то скоро позабудет бедную принцессу Елисавет, кою под клобук монашеский упрячут...

Она наконец отыскала туфельку и принялась на шаривать вторую. Вторая, впрочем, не находилась, и Елисавет, заглядывая под кровать, в сердцах бурчала:

– Я ему говорю: тебе довольно одного моего слова быть должно, а он: никак нет, бумагу давайте подписанную, что Лифляндию, Эстляндию, Ижорские земли да Карельские и Моонзундские острова вновь наши будут. Не то не видать вам нашей подмоги как своих ушей.

– Не видать, это точно, – сухо проговорил Лесток. – Я так понимаю, что ваше величество очень хочет расстаться и с этой последней надеждою на получение престола.

Елисавет посмотрела на него с ненавистью и, подхватив с полу нашедшуюся туфельку, с такой яростью запустила ее в стену, что по всей комнате звон прошел от бревенчатых стен, едва замазанных дурной, тут же посыпавшейся на пол штукатуркою.

– Письмо... – пожал плечами Лесток, ощущая полное свое бессилие. – Ну что такое это письмо?! Сущая безделица. А от него судьба зависит... Ваша судьба. Судьба России, наконец!

Елисавет швырнула в стену вторую туфельку и расплакалась, по-бабьи подвывая.

1755 год

Париж

– Ну, мадемуазель де Бомон, – пробормотал герцог де Сен-Фуа, глядя на нежную блондинку с точеной фигурой и прелестным лукавым личиком, присевшую в реверансе, – я предрекаю вам огромный успех... – Тут он замялся, потому что взгляд его скользнул в декольте красотишки... так себе, мягко выражаясь, было и декольте, и его содержимое, а грубо говоря, вовсе никакое! И Сен-Фуа уточнил с усмешкою: – У любителей девственных форм.

Голубые глаза блондинки обратились к его лицу с испуганным выражением, и Сен-Фуа пожалел дебютантку:

– Могу вас успокоить: таких при дворе очень даже немало. Иногда, знаете, вкусы общества меняются. То, к примеру, в моде рубенсовское изобилие плоти, а через неделю все кавалеры гоняются за женскими подобиями какого-нибудь Гиацинта или Кипариса. Надобно вам сказать, что даже его величество предпочитает худышек. Ваша покровительница мадам де Помпадур никогда не отличалась пышным бюстом, однако, сами знаете, достигла немыслимых высот. Кстати, это ей вы обязаны изысканностью своего наряда?

Мадемуазель де Бомон кивнула с благодарной улыбкой, вспоминая часы, которые провела в обществе всесильной подруги короля (нездоровье мешало мадам Жанне де Пуассон, герцогине де Помпадур оставаться пылкой любовницей Людовика XV, но совсем даже не препятствовало совать свой хорошенький пряменький носик как в личную жизнь короля, так и, что гораздо важнее, в сферу политики, причем весьма плодотворно). А обряд одевания мадемуазель де Бомон относился именно к разряду сложнейших политических интриг. И все же, при осознании всей важности сего дела, мадам де Помпадур искренне веселилась, наблюдая, как странно ведет себя ее политическая протеза:

– Не хмурьтесь, э-э... мадемуазель. Что такое? Вам неудобно?

– Я ненавижу корсеты! – фыркнула Лия де Бомон, раздувая ноздри.

– О, понимаю. При вашем сложении корсета вроде бы и не надобно, талия ваша удивительно тонка, однако что поделаешь: таковы узаконения моды! Совершенно немыслимо даме вашего положения показаться в обществе без корсета.

– Я не могу дышать. Ох, я сейчас в обморок упаду! – плаксиво сообщила мадемуазель де Бомон.

– Кстати, хорошая мысль! – воодушевилась мадам де Помпадур. – Имейте в виду: слезы и обморок – очень сильное оружие. Не стоит им злоупотреблять, чтобы у мужчин не выработалась привычка, но изредка применять эти маленькие дамские слабости очень полезно.

– Благодарю за совет, мадам. Следует ли понимать его так, что вы сами порою используете сии маленькие слабости в отношениях с его величеством? – не сдержала ехидства жертва корсета.

Герцогиня де Помпадур подняла тщательно подчеркнутые брови. Вообще-то она родилась светлой блондинкой (совершенно белобрысой!) и брови имела белесые, да и вообще была довольно бесцветна, однако об этом никто не догадывался, ибо все ухищрения косметики предлагались к услугам самой могущественной особы во Франции. Что и говорить, Лия де Бомон шутила с этой дамой весьма неосторожно...

Впрочем, мадам Помпадур находилась нынче в отличном расположении духа.

– Мне, пожалуй, следовало бы рассердиться, но разве это возможно, когда глядишь на такую милашку? – нежно усмехнулась она, лаская двумя пальцами шелковистый, нервно вздрагивающий подбородок «милашки». – К тому же вы правы, дитя мое. Я такая притворщица,

такая притворщица... Но вы, пожалуй, дадите мне фору, как говорят наши враги англичане, не так ли? А теперь, – обратилась она к портному, – прошу вас, наденьте нашей куколке юбки.

– Пресвятая Дева! – пробормотала вышеназванная «куколка», с непритворным ужасом глядя на громоздкое куполообразное сооружение из пяти рядов закругленных тростниковых прутьев, которое выставил на середину комнаты портной герцогини. Внизу сооружение было непомерно высоким, а сверху сужалось до размеров затянутой в корсет талии. Обручи скреплялись меж собой клеенкой. – А вот интересно, как в этом *reifrock*¹ прикажете падать в обморок?! Обручи-то сломаются!

– Вы предпочитаете немецкое название? – удивилась герцогиня. – Мне больше по душе наше французское слово «кринолин». И не пугайтесь, тростник достаточно гибкий, и сломать его очень не просто. Даже если не в меру игривый кавалер повалит вас на оттоманку, с кринолином ничего не произойдет.

Вскоре выяснится, что мадам де Помпадур как в воду глядела... насчет оттоманки-то... Ну что ж, она хорошо знала свет!

Надевание кринолина и натягивание на него двух юбок, нижней – с легкими, воздушными оборками – и верхней, с разрезом спереди, дабы видеть эти самые оборки, – прошло в смиренном молчании, изредка перемежаемом страдальческими вздохами Лии де Бомон.

– Ну вот, – довольно сказала мадам Помпадур, когда последние булавки были прилажены, а последние шнурки завязаны. – С одеждой покончено, теперь кутюрье может уйти, а мы пригласим куафёра. Ну, полно кланяться, мсье, у нас мало времени. Прошу вас, угомонитесь! Лучше займитесь прической этого очаровательного создания.

– Рад служить, мадам! Счастлив служить... – засуетился куафёр.

– О-о! Ради всего святого, осторожней! – завопило вдруг «создание». – Вы обожгли мне лоб! Разве не лучше было бы надеть парик, чем навивать эти дурацкие бараньи кудряшки?!

– О боже, вы рассуждаете, словно какая-нибудь прусская графиня, которая живет допотопными представлениями о красоте! – возмутилась мадам Помпадур, в душе которой ненависть к пруссакам равнялась только ненависти к англичанам. – Парики уже отошли в прошлое, их носят только крестьяне, а что касается дамы, доверие которой вы должны завоевать, она их никогда не любила. Она гордится своими рыжими волосами и лишь слегка припудривает их, а причёсывает гладко или немного взбивает. Ну, гладкая причёска вам едва ли пойдет, поэтому здесь надо будет поднять, и еще вот здесь, а тут мы опустим локон. – И мадам Помпадур, делая вокруг своей бесподобно причёсанной и, к слову сказать, весьма разумной головы причудливые жесты, дала понять куафёру, что именно от него требуется.

Куафёр оказался мастером своего дела, и спустя какое-то время мадам восторженно вздохнула:

– Ах, это истинное произведение искусства! Вам нравится?

– Неужели вы думаете, что я смогу сделать это самостоятельно?! – ответило вопросом на вопрос «произведение искусства», взирая в зеркало со странным выражением, в котором тоска мешалась с восхищением. – Никогда в жизни! Или вы намерены пришить платье булавками к моему телу, а голову облить растопленным бараньим жиром, чтобы сия причёска закрепилась на несколько месяцев кряду? А?

Мадам Помпадур побледнела и так закатила глаза, словно намеревалась немедленно упасть в обморок и доказать объекту своих забот гибкость тростниковых обручей на кринолине.

– С вами поедет куафёр и лучшая из моих камеристок, – наконец выговорила она слабым голосом, доставая из рукава надушенный платочек и нюхая его, как если бы одно лишь только упоминание о растопленном бараньем сале сделало окружающую атмосферу зловонной. – И

¹ Юбка с обручами (нем.).

все, довольно болтовни. Нам пора идти. Скоро начнется бал у герцога Ниверне. Меня там не будет, но Сен-Фуа присмотрит за вами.

Вот так и вышло, что герцог де Сен-Фуа находился стражем при мадемуазель де Бомон. Он с любопытством оглядывал мужчин, которые косились на хорошенькую дебютантку, однако никто не решался к ней подойти.

Прибыл король, начались танцы, а эта пара все торчала в своем углу.

– Все уже танцуют, кроме меня, – огорченно прошептала Лия де Бомон. – В чем дело? Неужто я так плохо выгляжу?

– Все дело в том, что я стою рядом с вами, – сообразил Сен-Фуа. – Исполняю при вас роль огнедышащего дракона. А поскольку моя репутация известна, со мной никто связываться не рискует.

Лия де Бомон с уважением покосилась на собеседника. В самом деле, ревнивая натура Сен-Фуа вошла в поговорку. При дворе никогда не говорили, мол, ревнив, как Отелло. Во-первых, потому, что венецианский мавр был выдуман Шекспиром, англичанином, которых французы ненавидели. Во-вторых, потому, что про Шекспира и про Отелло здесь вообще мало кто слышал. В-третьих, пример Сен-Фуа, вызывавшего на дуэль всякого, кто пытался перейти ему дорогу к той или иной юбке, был гораздо ближе.

Однако уважение во взгляде мадемуазель объяснялось прежде всего тем, что Сен-Фуа являлся одним из первых фехтовальщиков и стрелков своего времени, а Лия де Бомон отнюдь не по-женски обожала и фехтование, и стрельбу.

– Мы вот что сделаем. Я отойду, понаблюдаю за вами со стороны. Не волнуйтесь, в случае чего я мигом явлюсь вам на помощь... ради бога, только не говорите, что вы и сами с любым обидчиком справитесь. Я в этом ничуть не сомневаюсь, – усмехнулся он, заметив воинственный пламень, вспыхнувший в прекрасных Лиинных очах.

И стоило Сен-Фуа отойти, как Лия увидела, что к ней приближается сам герцог Ниверне. Он поклонился и бросил на нее покровительственный взгляд.

– Мадемуазель, соблаговолите пройти в голубую гостиную, – сказал он тоном, не оставлявшим сомнений в том, что этот человек привык к всеобщему повиновению, даже если бы вслед за этим не прозвучала причина, по которой требовалось это повиновение: – С вами желает поговорить его величество король. Он видел вас!

Дебютантка взволнованно перевела дыхание. Итак, герцогиня уже известила короля о том, какую миссию должна исполнить мадемуазель де Бомон. Собственно, сама эта миссия приуготовлялась по поручению его величества, другое дело, что он еще не видел человека, которому предстоит ее исполнить. Ну, вот сейчас знакомство состоится... Лию немного удивило, что представлять ее королю будет герцог Ниверне, который, пожалуй, не должен быть в курсе этой политической игры. А впрочем, какое дело мадемуазель де Бомон, кто из сильных мира сего в курсе интриги, а кто – нет? Ее дело – повиноваться приказам короля.

Она послушно присела в реверансе, мимоходом отметив, что взгляд Ниверне скользнул в ее декольте, и разговор с Сен-Фуа всплыл в ее памяти.

«Какие же они все-таки однообразные существа, эти мужчины!» – подумала она, едва удержав проказливую улыбку и скромно потупив глаза.

Гостиная, куда препроводили мадемуазель де Бомон, оказалась очаровательной и очень небольшой комнаткой, и впрямь отделанной в голубых тонах. Едва оставшись одна, Лия подступила к огромному зеркалу, висящему над камином, и вгляделась в свое отражение. Нет слов, этот штюф на стенах по цвету отлично подходит к ее глазам и даже придает им яркость, однако ее голубое платье совершенно теряется на фоне голубой обивки, голубого шелка, которым обтянута премилая оттоманка и пуфы, а также голубых портьер. Пожалуй, королю она покажется бледной немочью, пожалуй, его величество вряд ли поверит, что столь блекло и уныло выглядящее существо способно решить задачу, которая требует от посланца силы и

твердости характера, остроты ума и вообще того, что философы называют яркой индивидуальностью. О какой уж тут яркости может идти речь, это просто ужасно!

– Очаровательно, – прозвучал сбоку голос, и Лия вздрогнула от неожиданности. – Нет, в самом деле, просто очаровательно. У меня такое ощущение, будто я попал на дно морское... в общество одной из тех прекрасных русалок, которые способны так очаровать тонущих моряков, что им даже не хочется заботиться о своем спасении, они могут только мечтать как можно скорей пойти на дно и очутиться в объятиях этих чаровниц.

Лия повернула голову... В дверях стоял высокий, дородный, отмеченный зрелой и ухоженной красотой человек. Быть может, какой-нибудь гвардеец счел бы, что его облику недостает мужественности, особенно в этом белом, шитым золотом наряде, однако величавости этот облик был исполнен с избытком, ведь перед Лией оказался не кто иной, как сам король Франции Людовик XV.

Мадемуазель де Бомон поспешно нырнула в реверанс и уловила чуть слышную довольную усмешку его величества. Робко подняла глаза – ну да, взор король устремил именно туда, куда следовало, и по выражению лица можно было понять, что зрелище это доставляет Людовику истинное наслаждение.

– Так вот об объятиях, в которых моряки мечтают оказаться как можно скорей, – непридуманно проговорил он, приближаясь к Лии. – Я, представьте, тоже спешу, мне нужно вернуться в зал. Герцогиня Помпадур просила передать, что мне предстоит важная встреча с нашим секретным посланцем в Россию. Поэтому, моя дорогая, минута промедления вполне может быть подобна гибели нашего изощренного политического замысла.

Лия растерянно хлопнула глазами. Но ведь это она – секретный посланник. Это с ней должен встретиться король. Или произошла какая-то путаница? Он еще не знает, кто она? Тогда зачем же ее пригласили в эту уединенную гостиную?

В следующее мгновение Лия получила ответ на свой вопрос. Король приблизился к ней вплотную и так проворно схватил в объятия, что это подтвердило его репутацию отъявленного волокиты. С той же сноровкой, рожденной, несомненно, частой практикой, он впился в изумленно полуоткрытые губы мадемуазель, которая едва не лишилась чувств от потрясения. В следующее мгновение, впрочем, ей пришлось испытать куда более сильное потрясение, потому что его величество чуть приподнял над полом ее изящную фигурку и повлек куда-то... как немедленно выяснилось, на ту самую оттоманку, обитую голубым шелком. В следующее мгновение Лия ощутила тяжесть мужского тела, навалившегося на нее сверху. Она попыталась издать протестующий крик, ощутив, что умелая и сильная рука бесцеремонно задирает ее юбки, но губы короля сковали ее рот.

«Боже милостивый! – мелькнула мысль. – Мой кринолин! Он сломается!»

Впрочем, мадам Помпадур знала, о чем говорила, когда рассказывала, что кринолины делаются из необычайно гибких прутьев. Треска обручей Лия не слышала – до нее доносился лишь скользко-прохладный шелест сминаемых юбок, верхней и нижней, шуршанье сорочки, которая подвергалась такому же грубому обращению, да тяжелое дыхание мужчины, распаленного похотью.

Нужно было что-то делать, нужно было защищаться. Лия де Бомон отлично знала, что легко справилась бы с наглецом, но ведь не станешь драться с *королем*! Оставалось надеяться лишь на естественный ход событий... хотя, черт побери, этот ход событий мог бы обернуться для секретного посланника заключением в Бастилию... вполне мог бы!

И в ту минуту, когда эта обжигающая, а вернее, леденящая мысль пришла Лии в голову, она ощутила, как нетерпеливая рука короля наконец-то проникла под ее нижние юбки и добралась до самого секретного местечка.

Лия де Бомон, как положено порядочной женщине, ничего лишнего под юбками не носила, никаких панталон или кюлот, известно, их только кающиеся шлюхи надевают, дабы

от греха защититься, – а потому пальцы короля мигом нащупали то, что у каждого человека промеж ног находится.

Мгновение оцепенения... потом король вскочил с оттоманки, вернее, с Лии. И не просто вскочил – почти отпрыгнул от нее как можно дальше!

– Что все это значит, мадемуа... то есть...

Лия проворно поднялась с оттоманки и привела в порядок свой криолин, а также вернула на место лиф платья.

– Ваше величество... – с запинкой пробормотала она. – Я... я...

О боже, что сказать?!

– Ваше величество, – послышался новый голос, и в комнату вошел герцог де Сен-Фуа. – Молю о прощении, что нарушаю вашу приватную беседу. Я не успел представить вам нашего секретного посланника к императрице Елизавете. Мадемуазель Лия де Бомон, урожденная...

Тут Сен-Фуа назвал подлинное имя мадемуазель.

Лицо короля приобрело багровый оттенок и являло вопиющий контраст прочим цветам, наполнявшим эту гостиную, особенно лицам Лии и Сен-Фуа. Да, Бастилия оказалась к ним обоим сейчас близка, как никогда...

– М-да, – проговорил наконец король, раздвигая губы в улыбке и с новым интересом озирая Лию. – Любой на моем месте обманулся бы. От души надеюсь, что и Елизавета тоже будет введена в заблуждение... самое приятное!

Он хихикнул и поправил жабо.

Гроза миновала. Лия де Бомон и герцог перевели дух.

Впрочем, слишком радоваться они не спешили, поскольку не забывали, что Людовик был весьма мстителен.

– Хотя говорят, – произнес он, придирчиво озирая Лию, – что Елизавета весьма разборчива и благочестива!

Сен-Фуа потупился, тая улыбку. Так-так... парфянская стрела все же прилетела. Однако насчет разборчивости и благочестия русской императрицы его величество явно заблуждался!

Санкт-Петербург

– Туже затяни! – велела Елизавета и задержала дыхание, отчего следующие слова из ее рта вышли сдавленно и невнятно: – Слышишь, Маврушка?! Еще туже!

Маврушка, вернее, графиня Мавра Егоровна Шувалова, в девичестве Шевелева, считалась лучшей подругой государыни Елизаветы Петровны еще в ту пору, когда императрица была всего лишь рыжей царевной Елисаветкой. Мавра оставалась в числе ближайших к ней дам и ныне, спустя четырнадцать лет после того судьбоносного ноябрьского дня, когда она Елисаветка на плечах гвардейцев, ошалелых, как и царевна, от собственной смелости, ворвалась в Зимний дворец и свалила с престола императора-младенца Иоанна Антоновича VI, а также его мать, регентшу Анну Леопольдовну, вкупе с супругом, Антоном-Ульрихом Брауншвейгским. Выбора тогда у Елисаветки не было: до правительницы Анны, несмотря на леность ее и скудоумие, начала доходить мысль об опасности иметь у себя под боком дочь Петра, которую поддерживает гвардия. Царевну со дня на день мог ожидать монастырь либо вовсе плаха. Теперь Анны Иоанновны уже в живых нет, после холмогорской-то ссылки, а Иоанн гниет в Шлиссельбурге. А впрочем, при дворе о нем не говорят, его как бы и вовсе нет на свете.

Ну что же, царствование, начавшееся после этаких-то страстей господних, оказалось совсем даже неплохим. А уж какие страшные приметы ему предшествовали! И обрушивались эти приметы именно во время коронации! Триумфальная арка, под которой должна была проехать Елизавета, вдруг оказалась повреждена невесть каким злоумышленником, во время пира с шеи новоявленной императрицы неприметно соскользнуло и невесть куда задевалось жемчужное ожерелье баснословной цены (ой, да на том пиру вино такой рекой лилось, что себя потерять недолго было, а уж каким-то там жемчугам исчезнуть сам бог велел, тем паче что жемчуг – камень слез!..), иллюминация не удалась (задумано-то было широко и пышно, а получился всего лишь жалкий пшик), а потом Преображенский дворец, любимый Елизаветой, потому что она в нем родилась, сгорел в одночасье... Эти приметы, как известно всякому понимающему человеку, пророчили России весьма печальную судьбу, однако держава в деснице Елизаветы (вернее, в нежной, белой и мягкой ручке... однако в то же время – весьма тяжелой длани, которой она с чисто русской щедростью и чисто петровской вспыльчивостью раздавала оплеухи направо и налево) и с помощью божией неприятелями не стеснена, границ своих, установленных Петром I, не теснит, а кое-какие вспыхнувшие войнушки оканчивает победоносно... Правда, у самых дальних границ, на реке Амуре, под стенами какого-то богом забытом Албазина, зашевелились китайцы, желающие отнять у русских то, что некогда русские отняли у них, однако господь не попустит ущемления Великой России, столь грандиозно расширенной завоеваниями Петра, бог не оставит верную, богобоязненную дочь свою и дочь Петра, российскую государыню! Так подумала Елизавета и размахисто перекрестилась.

От этого неосторожного движения Мавра Егоровна нечаянно выпустила шнурки уже совсем было затянутого корсета, и весь ее получасовой труд по превращению обширной талии императрицы в осиную пропал втуне.

– А, зар-раза! – пробормотала Елизавета, ловя сваливающийся корсет и с некоторым недоумением озирая свои выпущенные на волю более чем пышные формы. – С чего это я так раздалась?

– Небось раздашься, ежели станешь на масленой неделе по две дюжины блинков в один присест лопать! – буркнула Марья Богдановна Головина, вдова адмирала Ивана Михайловича Головина, по прозвищу Хлоп-Баба. Марья Богдановна была столь зла, что, совершенно как змея, яду своего сдержат не могла. Добросердечная Елизавета ее за это жалела и не слишком-то обижалась – тем паче что насчет блинков сказана была чистая правда.

– Да будет тебе, – беззлобно усмехнулась императрица. – Не все коту масленица, придет и Великий пост, а там ни щей мясных, ни буженины, ни кулебяки, ни каши гречневой с топленным маслом... Стану один квас пить да варенье есть, ну и опять отошаю, что весенняя волчица. Помяни мое слово, еще сваливаться с меня корсеты станут!

Графиня Анна Карловна Воронцова, урожденная Скавронская, двоюродная сестра Елизаветы по матери, подавила горестный вздох. Она знала истовость императрицы в исполнении церковных обрядов. Стороннему наблюдателю во время Великого поста могло показаться, что Елизавета всерьез решила уморить себя голодом: ей даже случалось падать в обморок во время богослужений (скромного-то нельзя, а рыбы она не любила). Приближенные наперебой подражали ей, и Анна Карловна заранее страдала от предстоящих голодовок.

Ну что ж, почетное звание императрицыной ближней дамы и чесальщицы ее пяток (ну да, эта прихоть Елизаветы помогла ей не спать ночами... она ведь помнила, что все предыдущие царствования оканчивались *ночными* переворотами, и страшно боялась за свою участь) давало много привилегий – однако притом налагало на придворных дам многие, порой весьма докучные и утомительные обязанности потворствовать всем причудам государыни. Анна Карловна с некоторой дрожью вспомнила ее недавнюю жуткую затею: как-то раз, не в силах смыть дурную краску со своих волос, придавшую им неприятный белесый оттенок, императрица просто-напросто велела обрить себе голову. Она пожалела об этом через минуту – когда нацепила вороной парик и в очередной раз убедилась, что носить *это* ей противопоказано. Вообразив изящно причесанные головки ее придворных дам и среди них – свою, напоминающую воронье гнездо, Елизавета вскипела – и мигом отдала приказ всем, всем до единой дамам, являвшимся во дворец, в первую очередь своим фрейлинам и ближним дамам, также обриться и нацепить черные парики. Боже мой, какой это был ужас, сколько слез пролилось тогда, сколько проклятий вырвалось сквозь стиснутые зубы!

Анна Карловна, едва попавшая благодаря замужеству с Михаилом Воронцовым, близким другом императрицы и участником достопамятного переворота, в почетное и труднодостижимое число чесальщиц императрицыных пяток, рвала бы на себе волосы, ежели после вмешательства цирюльника осталось бы, что рвать. Оно конечно, сделавшись чесальщицей, Анна Карловна вмиг попала в разряд таких влиятельных особ, как Мавра Шувалова, Марья Головина, Екатерина Шувалова, родная сестра фаворита Ивана Ивановича, и страшно этим кичилась: ведь все понимали силу словца, вовремя нашептанного среди ночи в ушко императрицы, и даже дипломатический корпус заискивал перед чесальщицами государыни. Правда, когда пришел приказ от императрицы незамедлительно облысеть, графиня Воронцова сначала сочла, что это чрезмерно дорогая цена. Но тотчас образумилась: уж лучше расстаться с волосами, чем с головой, волосы-то вырастут, а голова – навряд ли. К тому же очень кстати стали носить маленькие, едва взбитые прически, да еще прикрывали их нарядными сетками, усыпанными драгоценными камнями, поэтому разрушения, причиненные злобой волей взбалмошной повелительницы, удавалось легко замаскировать. Однако с тех пор Анна Карловна не без страха наблюдала за туалетом императрицы: а ну как вновь той вдарит моча в голову? Вон углядит на своей лилейной щеке малый прыщ – и постановит всем придворным дамам себе рожи до крови уязвить на том же самом месте! Звучит нелепо, а ведь с нее станется, с императрицы-то! К примеру говоря, на маскарадах, которые соперничают в Елизаветином сердце с богомольями и следуют один за другим (Елизавета унаследовала от отца страсть к переодеваниям), всем мужчинам велено являться в женских платьях (в юбках с широченными фижмами, с которыми кавалеры не знали, как управиться!), а женщины должны надевать камзолы французского покроя, короткие штаны и обтягивающие чулки. Делалось сие исключительно ради того, чтобы Елизавета могла выставить напоказ свои очень стройные и красивые ножки и лишний раз убедиться в том, что никто из дам не может соперничать с нею и в этой области!

Так что поститься в компании императрицы – это еще такая малость...

Однако вот что изумительно: какой постницей ни была Елизавета, это касалось лишь притеснения себя в чревоугодии. Все же прочее, и прежде всего любострастие, проходило по другому ведомству, в кое посту как бы и не было доступа. Близкие люди императрицы не могли бы припомнить случая, когда бы пост помешал ей слушать итальянских певцов или самой петь веселые песни с деревенскими девками, гонять по цветущим лугам верхом или кататься в санях со снежных гор, встречаться с «кавалерами» (Елизавета очень любила это галантное, жеманное слово) или, по крайности, призывать к себе гадалку и раскидывать на оных кавалеров карты. Иной раз, впрочем, обходилось и без гадалки. Мудреные словеса про кубки, чаши, монеты и жезлы, про старшие и младшие арканы были для Елизаветы Петровны скучны. Она видела во всех этих императрицах, папессах, королях, императорах, дамах, отшельниках, пажах, дураках совершенно конкретных людей, общалась с ними, как с живыми, находила у них утешение, и если чем-то ее огорчали карты, то лишь тем, что их было мало, настолько мало, что перечень «кавалеров» императрицыных они не были способны исчерпать, а потому Елизавете приходилось заменять фигуры цифрами, и иногда она забывала, кто есть кто, путалась в гадании, злилась, когда выпадал не тот король, не тот паж, не та дама...

Изысканно раскрашенные картинки, привезенные из Парижа, сделанные итальянским художником чуть ли не больше ста лет назад и купленные за большие деньги Семеном Нарышкиным, бывшим Елизаветиным любовником, а потом посланником России во Франции, она берегла как воспоминание о той большой любви, хотя, если честно сказать, была изрядно забывчива. Но этот подарок стал ее истинным спасением в тяжкие минуты одиночества и безысходности, да и теперь, когда она частенько впадала в грусть, ярость, уныние, карты помогали вернуть прежнее веселье. Она где-то услышала, что еще дед ее, царь Алексей Михайлович, карты, завезенные в Россию поляками, сподвижниками Лжедмитрия, пытался запретить и даже предписывал с игроками поступать так, «как писано о татях», то есть бить их кнутом и пальцы да руки отрубать.

– Экое варварство, – произнесла Елизавета, поморщившись, однако ни словом не обмолвилась о том, что и батюшка ее Петр Алексеевич указом своим предписывал обыскивать всех заподозренных в желании играть в карты, «и у кого карты вынут, бить кнутом».

Впрочем, понятно, почему она помалкивала. Если дед готов был вообще все имеющее отношение к картам загубить, то батюшка дурно относился только к азартным играм, которые доводили людей до умопомрачения. Сам он отдал дань картежничеству, частенько поигрывал до самой смерти, только ведь общеизвестно: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Сам Петр Алексеевич любил эту пословицу с назидательным видом повторять по-латыни: «Quod licet Iovi, non licet bovi». При этом он и не думал запрещать карточные игры, которые не просто кошелек облегчали, а помогали время коротать, а также с любопытством смотрел на раскладывание пасьянсов: самому-то для таких тонких забав вечно времени не хватало. А вот Елизавета как пристрастилась к гаданию с легкой, вернее, нелегкой руки Анны Крамер, горничной давно почивший в бозе царевны Натальи Алексеевны, племянницы своей, так и не могла от этого отвязаться. У императрицы была такая привычка – бросить все дела и кинуться вдруг к заветной колоде, воздев глаза к небу, прошептать:

– Карты всеведущие, жезлы, булавы, монеты, кубки, что сейчас такой-то (король жезлов, паж монет, император, дьявол, смерть et cetera) делает и думает ли он обо мне, даме кубков?

И в зависимости от того, какие две карты выпадали рядом с искомым персонажем, которому на сей миг было присвоено имя Алексея или Кирилла Разумовских, Ивана Шувалова, Алексея Шубина или еще кого-то из нынешних или прежних царицыных «кавалеров», Елизавета гневалась или радовалась.

Само собой, ничего более глупого, чем приходиться в ярость или плакать от счастья в зависимости от того, какие именно раскрашенные картинки нечаянно выпали, не видел белый свет. Однако вот такие они загадочные создания – женщины, и царица ли пред вами, сенная ли

девка – разницы, по существу, никакой нет. Все они существа досужие, склонные не только к праздномыслию, но и к измышлению несуществующих страданий... как будто того, что им ежедневно подсудобливает судьба, мало! Причем охота страдать припадает им в самый неподходящий для сего миг.

Вот так произошло и теперь. Не завершив одевания, Елизавета вдруг замерла и задумчиво покосилась на малый комодик, сплошь отделанный розовым перламутром.

Анна Карловна Воронцова встrepенулась. В это самое время она увидела, как шевельнулась дверь императрицына покоя и в проеме мелькнуло лицо вице-канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, ее, стало быть, Анны Карловны, богоданного супруга. Она знала, что у мужа к императрице было срочное и неотложное дело, однако туалет государыни нынче непременно затянулся...

Анна Карловна послала мужу предостерегающий взгляд, и он понятливо исчез. Елизавета тоже поглядела на дверь.

– Что это сквозит? – спросила недовольно. – Кто там рвется, кому так не терпится? Почудилось мне иль вице-канцлер за дверью мелькает?

– Правда твоя, матушка, – отозвалась Хлоп-Баба Головина, – и вице-канцлер там, и самый канцлер тоже – оба-два.

Анна Карловна чуть не ахнула от изумления: как это удалось Мавре Егоровне, ни разу не оглянувшись, различить не только Михаила Илларионовича, чуть видного в щелочку, но и вовсе не заметного отсюда канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина?

Елизавета усмехнулась:

– Ишь ты! И не перегрызли же глотку друг другу, а?

Головина и Шувалова захохотали. Анне Карловне тоже пришлось соорудить на лице улыбку. О взаимной и очень острой неприязни вышеназванных господ было известно всем. Мало сказать, что они соперничали за благосклонность императрицы! Воронцов, ее стариннейший друг, некогда камер-юнкер при дворе царевны Елисаветки, снабжал ее деньгами, которые черпал из кармана своего брата Романа, женатого на баснословно богатой купчихе, а в ночь переворота шел в Зимний с нею рядом. То есть Елизавета была к Воронцову благосклонна всегда, хотя и не находила в нем того блеска ума и тех дипломатических талантов, которыми обладал Бестужев-Рюмин. Однако в ту пору два направления внешней политики разделяли государственных людей в России. Одни желали союза России с Пруссией и Англией, другие склонялись к коалиции с Францией и Австрией против Пруссии. Бестужев придерживался первого направления, Воронцов горой стоял за второе. И каждый беспрестанно пытался перетянуть императрицу на свою сторону. И степень старания каждого зависела от количества уплаченных им денег...

Елизавета любила говорить, что русский чиновник для нее куда любезнее немца. Однако те наивные люди, которые думали, что Россией после низложения немцев, прикормленных прежними властительницами: Бирона, Миниха, Остермана и Лёвенвольде, – будут управлять исключительно русские министры, ошибались. То есть русскими-то они были русскими и фамилии носили звучные, древние, прославленные: Бестужев-Рюмин, Воронцов, Олсуфьев, Волков, – однако все эти министры фактически находились на содержании иностранных дворов или, по крайности, получали разнообразные подношения – не в меньших размерах, чем свергнутые ими немцы.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, который кичился своей неподкупностью и умел заставить поверить в нее, сваливая грехи с большой головы на здоровую (к примеру, он убедил императрицу, что ее лекарь Лесток получает пенсион от Франции, что являлось чистой правдой, и от Пруссии, что не имело под собой никаких оснований), за активную поддержку Англии (Россия пообещала предоставить в ее распоряжение армию в 55 тысяч человек) и подписание союзного договора с этой страной получил десять тысяч фунтов стерлингов, Олсуфьев – пол-

торы тысячи дукатов, и еще ему был обещан пенсион. Это – поверх той сотни тысяч фунтов стерлингов, которую ежегодно обещала Англия платить России. Вот именно – обещала... К тому же Бестужев кланчил у английского короля еще и годичный пенсион в две с половиной тысячи фунтов и обязывался работать в пользу «владычицы морей». Посол Англии в России сэр Уильям Гембори писал в Сент-Джеймский дворец: «Надобно дать ему, так как он чисто-сердечно служит в пользу нашего короля»».

Впрочем, глядя на замкнутого, надменного и неприступного Бестужева, никто этого и заподозрить не мог!

В отличие от Бестужева, Воронцов не делал вида, будто он святее папы римского. С чутью смущенным выражением своего красивого, смуглого лица он смирялся перед слабостями человеческой натуры! Еще в 1746 году, когда Бестужев прибрал к рукам всю политику России, свалив и Лестока, и Шетарди и на время отставив Воронцова, он взял отпуск и объехал всю Европу. Побывал Михаил Илларионович и в Париже, удивив сей город халатом, подбитым пухом из сибирских гусей, а заодно свел знакомство с некоторыми министрами французского двора. Когда мадам Помпадур великодушно взяла на себя управление владениями Людовика XV, она разузнала о профранцузских настроениях русского вице-канцлера и прониклась к нему симпатией. Задумав меблировать заново свой дом, она продала старую мебель королю – с немалой для себя выгодой, а Людовик, по наущению фаворитки, отправил сию обстановку в Петербург – графу Воронцову. Обставлено сие было как дар от мадам Помпадур, и Воронцов теперь чувствовал себя весьма обязанным герцогине и всячески стремился обратить взоры Елизаветы в сторону Франции. Однако Бестужев постоянно стоял на его пути! Как правило, Воронцов, столкнувшись в приемной императрицы со своим недругом (и недругом Франции), надувался, как мышь на крупу, и уходил пожаловаться фавориту Елизаветы, камергеру Ивану Шувалову, который тоже обожал все французское.

Однако если тот обладал достаточной властью над сердцем (а еще большей – над телом!) государыни, то никак не мог влиять на ее легкомысленную голову (Бестужев достиг полной власти в России вовсе не потому, что императрица его любила или находила удовольствие в беседах с ним, нет! – а потому, что в одночасье снимал с Елизаветы все бремя государственных забот, давая возможность не касаться никаких дел). Поэтому внушить Елизавете мысль о том, что надобно принимать сторону Франции, Иван Шувалов никак не мог.

Между тем граф Воронцов, понукаемый французским посланником и собственным чувством долга (у него были свои понятия о чести!), чуть не рыдал, пытаясь добиться серьезного разговора с подругой юношеских лет. Однако понимал, что необходимы какие-то весьма серьезные доводы в пользу русско-французского союза: более серьезные, чем даже государственная необходимость!

И вот сегодня такой довод у Воронцова появился. Как и человек, который этот довод представит. Именно потому граф Михаил Илларионович выплясывал у императрицыной двери, дрожа от нетерпения, и едва сдерживался, чтобы не поглядывать на настороженного Бестужева покровительственно и даже с насмешкой. Прежние приезжие из Франции задерживались по приказу канцлера еще на границе, а единственный прорвавшийся в Петербург агент по имени Мейссонье де Валькруассан был отправлен в Шлиссельбург. Но этому агенту, который прибыл нынче... этому, вернее, *этой* должно повезти! Вице-канцлер чуял победу!

Впрочем, Воронцов знал, что к императрице можно прорваться для серьезного разговора не прежде, чем она посоветуется о прошлом и будущем с окружающими ее образами святых – это может длиться часами! – и, уж конечно, не прежде, чем ее зеркало удостоверит, что нет никого прекраснее в мире, нежели императрица Елизавета Петровна. Это была отчасти правда... Французский посланник маркиз Брейтейль доносил своему двору: «Нельзя лучше чувствовать себя и соединять в ее возрасте более свежий цвет с жизнью, созданной для того, чтобы его лишиться; обыкновенно она ужинает в два-три часа ночи и ложится спать в семь

часов утра. Впрочем, эта свежесть достигается с каждым днем все с большим трудом. Четырех, пяти часов времени и всего русского искусства едва достаточно ежедневно для того, чтобы придать ее лицу желаемую обольстительность!»

– Ваше величество, не пора ли принять господина вице... – заикнулась тем временем Анна Карловна, чуя беспокойство, которое донимало ее мужа, однако взор Елизаветы вновь мечтательно затуманился.

– А скажи, Маврушка, – обратилась она к Шуваловой, – знаешь ли ты, что мне сегодня снилось?

– Откуда же мне знать, матушка? – пожала та плечами, тоже косясь в сторону двери. Штука в том, что и Мавра Егоровна Шувалова была весьма заинтересована в скорейшей встрече императрицы с Воронцовым. А почему? Да потому, что ее муж, Петр Шувалов, тоже стремился к русско-французскому альянсу. Он добивался откупа на табачную монополию и рассчитывал, что именно Франция станет его рынком сбыта... – Да что б тебе ни снилось – сон ушел и быльем порос.

– А все же мне иной раз интересно, что он такое подделывает? – по-девичьи жеманно хихикнула Елизавета и, отбросив так и оставшийся незатянутым корсет, направилась прямо к заветному розовому комоду.

– Кто, матушка? – удивилась Мавра Шувалова.

– Как кто?! – раздраженно дернула плечиком Елизавета. – Тот, кого я нынче во сне видела!

Три придворные дамы озадаченно переглянулись. Как ни хорошо знали они свою госпожу, прихотливость течения ее мыслей частенько ставила их в тупик. Произошло это и теперь.

Ну что ж, они так же хорошо знали, что, пока императрица забавой карточной не натешится, бессмысленно ее прерывать. А потому с видом покорности и терпения обступили Елизавету, которая с проворством записной гадалки перетасовала колоду и, произнеся скороговоркою:

– Карты всеведущие, жезлы, булавы, монеты, кубки, что сейчас паж кубков Никита подделывает и тоскует ли он обо мне, даме кубков Елисавет? – принялась осторожно вынимать карты.

Меж дамами воцарилось некоторое замешательство. Хоть убей, они никак не могли вспомнить, кто такой есть паж кубков Никита и отчего он должен тосковать о даме кубков Елисавет?.. Однако через миг злоехидная Хлоп–Баба, обладавшая более живой памятью, фыркнула и значительно покосилась на Мавру Шувалову. Воронцова тоже не скрыла едкую улыбочку. А Шувалова вспыхнула огнем, потому что значение насмешек ей тоже стало понятно... ну да, судьба этого «пажа кубков» в свое время наизнанку вывернулась именно благодаря ее мужу и деверю, братьям Шуваловым!

– Батюшки! – воскликнула в это мгновение Елизавета. – Да вы только поглядите, дамы!

Дамы поглядели. Императрицы держала в руке три карты и негодуя ими взмахивала, так что различить их значения удалось не вдруг. Наконец они обнаружили, что паж кубков находится в окружении короля булав и пажа монет.

– Это что же значит такое?! – растерянно пробормотала Елизавета.

– Да то и значит! – злорадно хихикнула Мавра Егоровна, мигом почувствовав себя просто отлично. – Не верила ты, что он таковский, а ведь вот... сама видишь! Никаких дам при нем. Два мужика! Нет, даже три! – И она выдвинула из-за пажа кубков прилипшую к нему карту пажа жезлов, а потом с победным видом посмотрела на Хлоп-Бабу и Воронцову, как если бы в том, что паж кубков находился в обществе карт с явным мужским значением, была некая особая доблесть и даже ее заслуга.

– Ну, это еще может ничего и не значить, – проворчала Хлоп-Баба. – Мало ли что... пирушка, к примеру, а то и еще что-нибудь...

– Ага, пирушка! – хохотнула Шувалова. – Такая же пирушка, каким он на пленерах с молодыми красавчиками предавался, отчего вся рожа-то его прыщами пошла!

Елизавета чисто плотно передернула плечами. Воспоминания о прыщах, которыми и впрямь пошла *рожа* пажа кубков, мгновенно вышибли из ее памяти ностальгию о тех днях и месяцах, когда царица считала его *лицо* красивейшим явлением природы.

– И то! – сказала брезгливо. – Однако бес с ним, с Никиткою. Давайте дальше одеваться.

В эту самую минуту Михаил Илларионович Воронцов снова нетерпеливо ворохнул дверь, однако Анна Карловна успела успокаивающе кивнуть: мол, потерпи! Наверное, скоро...

Имение Лизино, вблизи Санкт-Петербурга, 1755 год

– Вы меня, чертово дитя, заморить решили? – Очень красивый молодой человек в простой рубаше, кавалерийских лосинах и мягкой калабрийской шляпе натянул поводья и осадил вороного коня, нервно перебиравшего ногами и норовисто воротившего точеную голову. – Смотрите, Нуар счастью своему не верит, что остановился наконец: весь в мыле.

– Может быть, конь и устал, однако вы, сударь, свежихоньки, – ответил ему второй всадник, гораздо моложе первого, так же одетый и сидевший на серой – мышастой – кобылке, столь легконогой и стройной, что, казалось, мощный Нуар должен был обойти ее играючи, нисколько не напрягаясь. Однако почему-то не обошел.

– Похоже, я сделал ошибку, когда поспешил расстаться с Мышкой, – первый всадник оценивающе окинул взглядом кобылку.

– Вы жалеете о своей щедрости? – так и оцетинился его спутник. – Коли так, заберите Мышку назад, мне-то для вас ничего не жалко!

– Ох вы и хитрюга! – усмехнулся красавец. – Умудрились придать моим словам такой смысл, какого я в них и не вкладывал, да еще и заставили меня почувствовать себя скаредом. Это все ваша английская кровь сказывается. Мы-то, русские, вообще не склонны этак играть словами.

– Английской крови во мне всего лишь четвертинка, – возразил второй всадник. – Как известно, отец мой наполовину француз, наполовину англичанин. Русской все же больше! Поэтому, сударь, прошу не острить по поводу моего происхождения, ежели вы желаете, чтобы мы и впредь оставались в дружеских отношениях.

– Вы мне, что ли, угрожаете? – ухмыльнулся красавец, снисходительно поглядывая из-под нависших полей шляпы.

– Да нет, только предупреждаю, сударь мой Никита Афанасьевич, – отозвался его молодой спутник.

– Я, видите ли, не привык, чтоб со мной этаким тоном позволяло себе разговаривать какое-то дитя, пусть даже и состоящее со мной в родстве! – В голосе Никиты Афанасьевича зазвучала угроза. – Предупреждает, смотрите-ка! Знает, что уйдет безнаказанно, не стану же я с каким-то чайлд-анфаном ² неоперившимся по-мужски беседовать!

– Ну так он с вами побеседует! – Покраснев от обиды, юнец соскочил с седла и встал в позицию, как если бы у него в руках была шпага или рапира. Впрочем, он немедля спохватился, что руки его пусты, и замер с растерянным выражением лица.

– Ага! – с издевкой хохотнул красавец Никита Афанасьевич, неторопливо покидая седло. – Только железками и способны пыряться французики-желтопузики. А врукопашную? Тычки да кулачки – этому вас ваши английские предки не удосужились обучить?

Он откровенно задирал своего спутника, вызывал его на пикировку, и тот подыгрывал весьма охотно. Трудно было поверить, что его обида и вспыльчивость притворны.

– Не извольте беспокоиться! – прошипел юнец. – The boxing – this is our national english sport!

И он очертя голову кинулся на Никиту Афанасьевича, который легко отражал запальчивые замахи и несильные удары.

² От англ. *child* и франц. *enfant* – ребенок.

Юнец пытался обрести хладнокровие. Он ухитрился скинуть шляпу и отбросил со лба влажные темно-русые кудри. Они были перехвачены сзади черной бархоткой и образовали некое подобие лошадиного хвоста, так как были очень пышны и своевольны.

Никита Афанасьевич тоже скинул шляпу. Со своими соломенными волосами, которые также были завязаны бархоткой, он гораздо больше походил на хладнокровного английского лорда, занятого boxing'ом, чем разгоряченный, девически стройный и длинноногий юнец.

Сторонний наблюдатель, коли таковой сыскался бы, приглядевшись, мог убедиться, что Никита Афанасьевич своего противника очень щадит. Его крепкие кулаки держали того на расстоянии, однако не причиняли никакого вреда. Но столь грозны были замахи, что юнец невольно отшатывался, бесился от своей трусости, краснел, снова очертя голову кидался в наступление – и вновь оказывался отброшен метким предупредительным замахом.

По лицу было видно, что он уже не на шутку разозлен, забыл, что это игра, и, удайся ему задеть противника, ни в коем случае его не пощадит.

– Ну что, Афоня, довольно? – спросил наконец Никита Афанасьевич весело, причем даже не запыхавшись.

Ожидая ответа, он невольно открылся для удара, и юнец, при своем иноземном происхождении носивший столь сугубо русское имя, не преминул этим воспользоваться. Он выбросил кулак вперед с такой силой, что Никита Афанасьевич непременно был бы задет, когда б не умудрился увернуться в последнее мгновение. Однако Афоня не смог сохранить равновесие и налетел на Никиту Афанасьевича всем телом. Тот покачнулся, но удержал юнца, поймав его в объятия. Они непременно устояли бы, если бы Афоня не подпрыгнул, обхватив противника руками и ногами. Никита Афанасьевич качнулся, у него еще оставалась надежда не упасть... Однако следующее действие Афони было таковым, что у кого угодно ноги подкосились бы.

Русоволосый парнишка пылко впился в губы Никиты Афанасьевича!

Тот был настолько ошеломлен – а кто не был бы ошеломлен на его месте?! – что несколько мгновений оставался нем и безгласен, а также не оказывал никакого сопротивления внезапно обрушившимся на него ласкам. А Афоня не только не унимался, но даже исполнялся новым пылом. Уже не только губы его терзали губы Никиты Афанасьевича, но и руки то тискали, то оглаживали плечи красавца, норовили взъерошить волосы...

Правда, длилось сие недолго. Никита Афанасьевич очухался от ошеломления и самым натуральным образом отшвырнул от себя ошалелого юнца.

– Да вы спятили, Афоня?! – вскричал он с таким пылом и такой яростью, что стало ясно: любовная атака не доставила ему ни малейшей приятности, а возмутила до глубины души. – Что вы себе позволяете?! Какая чертова муха вас укусила?!

– Да она меня давно укусила! – вскричал Афоня, вскакивая с земли с поистине поразительным проворством и вновь бросаясь к Никите Афанасьевичу с явным намерением продолжить обниматься, однако тот был уже настороже: столь же стремительно поднялся на ноги и выставил вперед полусогнутые в локтях руки со стиснутыми кулаками.

– Не советую неистовствовать, – предупредил он холодно. – Не то нарветесь на такой удар, что хорошенькая мордашка ваша надолго будет изуродована.

– Ну вот! – с запальчивой плаксивостью возопил Афоня. – Сами говорите – мордашка хорошенькая... отчего же вы не желаете...

– Нет, вы в самом деле спятили, чертово дитя! – оскорбленно выкрикнул Никита Афанасьевич. – Я вам что, старый потаскун, чтоб на всякую приглядную рожицу облизываться? Да и вы, кажется, забыли, какие именно чувства я могу испытывать к вам? А между тем поцелуи ваши выражали отнюдь не родственную любовь к дядюшке!

– Насколько я знаю, родство наше не кровное, – с прежним пылом возразил Афоня. – Когда наш дедушка женился на моей бабушке, у нее уже была дочь – ныне моя матушка. То

есть мы никакими запретными узами не связаны, вы мне не по родству дядюшка, а по свойству, и когда б вы пожелали, мы могли бы...

– Я весьма признателен, что вы наконец-то упомянули о моих желаниях, – усмехнулся Никита Афанасьевич – да столь ядовито, что Афоня побледнел от обиды.

– Вы что хотите сказать? – спросил он упавшим голосом. – Я не вызываю у вас никакого желания?

– Ни малейшего, – со скукой в голосе ответил Никита Афанасьевич. – Ни проблеска оного! И признаюсь вам: если до сей минуты вы казались мне весьма забавны и приятны, то сейчас мне даже глядеть на вас тошно. И мои намерения пригласить вас погостить в Лизино подольше теперь развеялись как дым.

– Что? – выдохнул Афоня, и его побледневшее лицо сделалось вовсе белым, известковым. – Вы меня прочь отсылаете?

– Отсылаю, – кивнул Никита Афанасьевич. – Немедленно по возвращении в имение я велю закладывать ваш экипаж с тем, что вашего духу уже нынче в Лизине не было!

– Господи, да за что же?! – потрясенно возопил Афоня. – Да мыслимо ли за любовь карать столь беспощадно?! Смилуйтесь, Никита Афанасьевич, свет очей моих, сокол ясный! Не гоните меня! Ежели моя любовь вам претит, я о ней молчать стану. Буду как и прежде – просто друг ваш, просто Афоня. Ни взглядом, ни словом не выдам, что на сердце у меня. Только не гоните!

Голос Афони дрожал, большие серые глаза казались еще больше от слез, губы тряслись совершенно по-детски. Да уж, от одной только разлуки с дядюшкой так не плачут, не приходилось сомневаться, что Афоней владеет чувство, весьма далекое от родственной и даже собственной привязанности!

Николай Афанасьевич угрюмо взглянул на его расстроенное лицо:

– Нет, дитя мое, ничего не выйдет. Не зря говорят: что в сердце варится, то в лице не утаится. А у вас мордашка не только хорошенькая, но и весьма живая и выразительная. Ни одно чувство скрыть не сможете, вмиг отразится на ней. А все эти страсти противоестественные мне, знаете ли, весьма претят.

– Противоестественные?! – повторил Афоня, и по его лицу видно было, что он глубочайшим образом потрясен... прав, прав был Никита Афанасьевич насчет живости и выразительности этого лица! – Да как же вы можете... о любви такими словами?! Всякая любовь, всякая страсть естественны, потому что из сердца исходят!

– Из сердца! – зло фыркнул Никита Афанасьевич. – Это у вас по сугубой молодости такое представление. А на самом деле страсть не вот тут, – он стукнул себя по левой стороне груди, указывая на сердце, – а во-он где, – последовал округлый жест над чреслами, – зарождается и гнездится, и желание просто созерцать обожаемый предмет мгновенно преобразается в желание этим предметом обладать.

– Ну и что? – вкрадчиво спросил Афоня. – Что ж в этом дурного? И плотская жажда тоже естественна, ведь не зря говорят, что именно в чреслах *естество* человеческое находится!

– Обладать, да... – повторил Никита Афанасьевич, словно не слыша Афониных слов. – И очень часто бывает, что человек своим желанием вызывает желание встречное. То есть до сего мгновения предмет его чувств и помыслить бы не мог, что является средоточием любви и желания, но, когда об этом узнает, его сердце тоже начинает усиленно биться, душа его трепещет, разум мутится, желания бушуют... он бросается навстречу огню, который его возжигает... и не тотчас замечает, что пламень тот уже утих, а потом и вовсе погас. Какое-то время его любовного пыла еще довольно, чтобы им греться, освещаться и не замечать, что он горит сам по себе, что обожаемому предмету подыхание его вовсе без надобности. И только потом, вдруг, с разрушительной внезапностью, понимает он, что огонь его не просто никем не поддерживаем, но и задувает его ветер сурового отчуждения, равнодушия, а то и измены. И вот

тут-то начинается истинное горе, мучительное, непереносимое, потому что не гореть ты уже не можешь, но чудится тебе, словно против твоего чистого, возвышенного пламени ополчились все ледяные ветры северных широт и все суховеи пустынь южных, все шторма океанов западных и все грозы гор восточных...

Никита Афанасьевич умолк, но эхо голоса его, исполненного лютой горечи, чудилось, еще веет в воздухе.

– Боже мой... – тихо и столь же горестно вздохнул Афоня. – Так вы ее, значит, все так же любите? С прежней силою?

Никита Афанасьевич молча пошел к Нуару, который замер в сладостной дреме, потому что Мышка положила ему на шею свою изящную голову и стояла неподвижно, лишь изредка взмахивая аккуратно подстриженным хвостом.

И это молчание Никиты Афанасьевича отчего произвело на Афонию самое тяжкое впечатление. Ну да, ведь это было то самое молчание, кое зовется знаком согласия, кое не требует доказательств... в самом деле, какие нужны доказательства простого «да»?! Лишь те, кто склонен изменять своим клятвам и сам себе не верит, требуют этих доказательств...

– Любите?! – возопил Афоня, и в голосе его зазвучали истерические, злобные нотки. – Несмотря на то что она возвысила вас – и унизила, приблизила к себе – а потом с презрением отшвырнула, ошельмовав, опозорив?!

– Я был злобно оклеветан, – угрюмо проговорил Никита Афанасьевич. – Только потому она...

– Да она ведь даже слова не пожелала принять от вас оправдательного! – в ярости перебил Афоня. – Ежели любишь человека, ищешь доказательств его безвинности, а не преступления. Да что там – «ищешь доказательств»?! Они не нужны, потому что любимому веришь! Она же вам не верила. И мало того! Она самые гнусные измышления на ваш счет приняла с готовностью, как должное. А почему? Я вам скажу: она счастлива была от вас избавиться! Вы ей не нужны были! А вы до сей поры...

Афоня осекся, потому что Никита Афанасьевич повернул к нему почерневшее от злости лицо.

– Молчи, молчи! – выдохнул он с такой опаляющей яростью, что Афоня отпрянул. – Что ты знаешь о женщинах, бесполое существо? Ни-че-го! Что ты понимаешь в любви? Еще того меньше!

– Я?! – так и взвился Афоня. – Я ничего не понимаю в женщинах? Я бесполое существо? Я не знаю толка в любви? Да как вы... да чтоб вас за такие слова... да будьте вы...

И, не найдя больше слов, он ринулся на Никиту Афанасьевича с новым приливом злости, а может, любовного пыла, ибо от любви до ненависти один только шаг. Бросок его был столь стремителен, что Никита Афанасьевич не успел прикрыться и получил чувствительный удар в бровь, причем болезненный до того, что он даже взвыл. И наградил обидчика ответным ударом, который пришелся в живот.

Афоня лишился дыхания и почти без чувств повалился навзничь. Никита Афанасьевич навис над ним...

И в эту самую минуту услышал громкое неразборчивое восклицание, что-то вроде:

– Протектюзелфбастард!

Разъяренный красавец обернулся на сию абракадабру – и едва не наткнулся грудью на острие шпаги, которую направлял на него высокий молодой человек в черном дорожном костюме и шляпе.

И, с великим изумлением глядя на его шпагу, Никита Афанасьевич сообразил, что абракадабра была на самом деле английским выражением: «Protect yourself, bastard!» и означала она: «Защищайтесь, негодяй!»

В пути от Парижа до Санкт-Петербурга, 1755 год, несколько ранее

– Знаете, что мне сказали на рудниках, м... э-э, мадемуазель? – спросил милорд Макензи Дуглас.

– Даже не представляю, милорд! – ответила дама, сидевшая рядом с ним в карете.

– Они не ожидали от вас такого интереса к рудничному делу, – усмехнулся Дуглас. – А также нашли, что вы удивительно выносливы, ловки и мужественны для столь нежного и сублильного создания.

Дама – это была та самая особа, которая не столь давно встречалась в приватной обстановке с мадам Помпадур, – нахмурилась.

– Это плохо... – пробормотала она. – Меня называли мужественной – это никуда не годится!

И, выхватив из дорожной сумочки ручное зеркальце, она принялась разглядывать свое лицо так пристально, словно выискивала на нем признаки пробивающихся гвардейских усов или, господи помилуй, даже бороды. Однако из зеркальца смотрело то же лилейное личико, которое не далее как несколько месяцев назад произвело совершенно неизгладимое впечатление на первого дворянина французского государства.

Получив королевское благословение, Лия де Бомон отправилась в путь – в Россию. И вот уже который день, затянутая в ненавистный корсет, в элегантном дорожном платье и шляпе с необычайно красивыми перьями, тряслась она в карете рядом с милордом Дугласом, заезжая по пути на все рудники Швабии и Богемии, Саксонии и Пруссии, а затем Курляндии и России. Официальной целью путешествия шотландца, который ненавидел англичан, притеснителей его родины, и являлся приверженцем Стюартов, этих отвергнутых претендентов на английскую корону, было минералогическое исследование, именно поэтому он и таскался по рудникам. Истинной же целью был сбор самых разнообразных сведений, совершенно не имеющих отношения к минералогии. Ведь Макензи Дуглас являлся шпионом французского короля. Так же, как и Лия де Бомон, впрочем.

В описываемое нами время Европа была просто-таки наводнена французскими шпионами! В Версале ³ существовало как бы два различных министерства иностранных дел. Оба находились под управлением короля, но одним ведали официальные представители правительства, а другим – принц де Конти. При том что этот внук Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер являлся отличным воином, он еще и славился как отъявленный интриган. Его отец был искателем польского престола, ну и принцу де Конти тоже хотелось воссесть на какой-нибудь трон. То есть его самозабвенное участие в шпионских делах имело и конкретную, практическую цель. Создав так называемую тайную дипломатию, Людовик XV пытался хоть что-то противопоставить ошибкам своих министров и собственной уступчивости в отношениях с ними, овладеть той информацией, которую чрезмерно заботливые соратники просто не доводили до его сведения. Частенько с помощью своих агентов он обманывал даже всеведущую мадам де Помпадур...

Представители двух дипломатий Людовика игнорировали друг друга и частенько враждовали. Так, например, об отправке мадемуазель де Бомон в Россию знали граф де Броли – посланник Франции при польском дворе, принц де Конти и Терсье, управляющий иностранными делами, однако министр иностранных дел Рулье оставался в убеждении, что в Россию

³ Это слово в данном случае должно восприниматься шире, чем просто название знаменитого дворца, – это обозначение всего французского правительства, так же как Сент-Джеймс – английского, а Кремль – русского, хоть бы оно находилось и в Петербурге, и т.п.

едет один Макензи Дуглас. Вся эта путаница, разумеется, объяснялась интересами *douce France*⁴.

А *douce France* в эту пору приходилось нелегко. Англия, вековой враг, нападала на отдаленные колонии в Новом Свете и отняла Канаду. К тому же англичане захватили почти все французские корабли. Франция как никогда раньше нуждалась в сильных союзниках! В Версале намеревались обратиться к Фридриху Прусскому, однако он и сам норовил подставить французам ножку и оттяпать у них парочку богатых провинций. К тому же насмешник Фридрих страшно обидел мадам де Помпадур, назвав ее Юбкой II, разумея, что Юбка I – это сам Людовик. После этого ни о каком союзе, понятное дело, и речи идти не могло. С Австрией французы враждовали чуть не двести лет, со времен кардинала Ришелье, то ли любившего, то ли ненавидевшего королеву Анну Австрийскую. Испания не хотела терять свой нейтралитет. Польшу не стоило принимать всерьез: ее раздирали собственные проблемы. Тогда Франция решила обратиться к России, отношения с которой были прерваны уже более десяти лет. Как-то так получалось, что Россия воспринимала Францию как враждебную державу, готовую ей всегда и везде подставить ножку и строить те или иные козни.

При этом в Париже было известно, что Елизавета, несмотря на те пакости, которые умудрился подстроить ей прежний друг, любовник и помощник Шетарди, по-прежнему относилась к Франции хорошо – в душе, вернее, в сердце своем. Ведь ее матушка некогда лелеяла намерения выдать Елисаветку за Людовика XV, и хоть эти прожекты были заведомо обречены на провал, романтические чувства к Франции и ее королю у Елизаветы сохранились. Англию она не любила (может быть, отчасти этой нелюбовью и объясняется упорное нежелание русской императрицы усвоить, что Англия – остров: она до конца жизни пребывала в уверенности, что до этой страны можно доехать сушей), а злобный насмешник Фридрих II оскорблял ее чувства, намекая на ее происхождение и многочисленные романы. Кроме того, он втихомолку поддерживал русских раскольников, ненавидимых Елизаветой, и не скрывал, что считает несправедливым низвержение брауншвейгской фамилии. Это было куда хуже в глазах Елизаветы, чем все и всяческие насмешки, и, конечно, не могло быть прощено.

И все же, несмотря на расположение Елизаветы к франко-русскому альянсу, как уже говорилось, все попытки французов установить связь с русским двором проваливались из-за бдительности Бестужева. Однако надежда умирает последней в душе не только обычного человека, но и монарха.

Что надлежало узнать мистеру Макензи Дугласу и мадемуазель Лии де Бомон, дабы оправдать надежды своего короля? Число русских войск, состояние флота, положение финансов и торговли; степень влияния, которым пользуются Бестужев-Рюмин, Воронцов, фавориты и министры; следовало также собрать сведения о судьбе малолетнего свергнутого императора Иоанна Брауншвейгского и его ссыльного отца: имеют ли они сторонников в России или между иностранными державами; как расположен народ к великому князю Петру Федоровичу и великой княгине Екатерине Алексеевне, а также их сыну Павлу; какие виды имеет Россия на Польшу, Швецию и Турцию; готовится ли Россия к войне; как расположены к ней дерзкие казаки... *et cetera, et cetera*.

Отдельным пунктом стоял курляндский вопрос. В Курляндии следовало особо остановиться для отдыха и разведать, что думает местное дворянство о ссылке своего герцога⁵ и кем думает его заменить русское правительство.

И еще по одному вопросу принц де Конти инструктировал Лию де Бомон:

⁴ Милой Франции (*франц.*).

⁵ Имеется в виду Эрнест-Иоганн Бирон, сосланный в 1740 году Анной Леопольдовной в Пелым и возвращенный оттуда Елизаветой, но поселенный в Ярославле.

– Вы знаете, что мой отец после смерти гетмана Собеского был избран на польский престол. Но узурпатор Август II Саксонский захватил трон, прежде чем законный монарх успел выехать из Франции. Это стало большим несчастьем и оскорблением и для моей семьи, и для всей нашей страны. С вашей помощью мы можем уничтожить наконец последствия этого несчастья и смыть следы оскорбления. Вы скажете Елизавете, что я влюблен в нее, и постараетесь внушить ей мысль вступить со мной в брак. Если она откажется, постарайтесь убедить ее сделать меня герцогом Курляндским и главнокомандующим русской армией...

Лия де Бомон кивнула, запоминая. Память у нее была преотличная, посланница не сомневалась, что запомнит не только наставления принца де Конти, но и шифры, которые он ей готовился вручить на словах. Разумеется, об открытой переписке и речи идти не могло!

– Договоримся так, – сказал принц, – с пути следования вы будете постоянно отправлять донесения его величеству и лично мне. Учитывая особенности страны, в которую вы направляетесь, я полагаю, что наиболее естественно должны выглядеть сообщения о мехах. В России, как мне кажется, мех не продает только ленивый. Посему английский посланник сэр Уильям Гембори, человек очень опасный, будет называться черной лисицей, а сообщения, падает ли мех черной лисицы в цене или поднимается, будут означать степень его влияния при русском дворе. Это понятно?

Лия де Бомон кивнула. В самом деле – что тут непонятного?

– Бестужев будет соболем, – продолжал принц де Конти. – Беличьи шкурки – английские войска. Вообще число войск в тысячах следует обозначать мехами в единицах. Пять белок – пять тысяч войска.

Лия де Бомон снова кивнула.

– Выражение «горностаи падают в цене» означает, что русская партия преобладает, иностранцы утрачивают влияние; если австрийская партия, к которой принадлежит Бестужев... он ведь служит не только англичанам, – ухмыльнулся принц, все досконально знающий о стране, в которую направлял необычную шпионку, – итак, если австрийская партия возьмет верх, вам следует сообщить: «Рысь также в цене». Если вам необходимо будет вернуться, вы известите, что все меха уже закуплены. И только для сообщения о полном провале миссии я оставляю для вас не меховое, а вполне «человечное» выражение: «Здоровье мое плохо...»

Увы! Именно это выражение вскоре пришлось использовать Макензи Дугласу, присовокупив, что он закупил уже все меха, какие только мог. На черную лисицу в России оказался чрезвычайно большой спрос, соболь оставался по-прежнему в моде, и даже рысь, хоть и употребляемая исключительно для дорожных шуб, была все-таки в цене. Итак, Дуглас отбыл из России, и в дальнейшем мехами предстояло заниматься исключительно мадемуазель Лии де Бомон.

Виной этому оказалась «черная лисица» – сэр Уильям Гембори. Подозрительный в высшей степени, даже к своим соотечественникам, он воспользовался своим влиянием на Бестужева, чтобы добиться узаконения: ни один англичанин не должен являться ко двору Елизаветы иначе, как представленный самим Гембори. Поэтому Дугласу пришлось прийти к посланнику за рекомендацией, но высокомерный англичанин принял шотландца, прибывшего из Парижа, не просто сухо, но даже оскорбительно. Дуглас понял, что путь во дворец ему закрыт, за каждым шагом его будет установлена слежка, а идя напролом, он рискует провалить все дело. Поэтому он счел за благо демонстративно уехать, однако перед отъездом ухитрился представить свою прелестную спутницу графу Михаилу Воронцову.

Имение Лизино, вблизи Санкт-Петербурга, 1755 год

– Боже ты мой, – пробормотал Афоня ошарашенно, – да что же это? Да не убили ли вы его?!

И он перевел испуганный взгляд с разгоряченного дракой Никиты Афанасьевича на молодого человека, лежащего на земле. Черный костюм того был теперь весь в пыли, крови и приобрел серо-красный пятнистый оттенок, шляпа валялась вне пределов видимости, зато можно было убедиться, что неожиданный гость чрезвычайно белобрыс, светлокож и обладает мощной нижней челюстью, изрядно теперь искровяненной (как, впрочем, и нос его, а под закрытым правым глазом набухал изрядный синяк... для полноты картины). Говорят, выдвинутые вперед подбородки свидетельствуют о силе характера, однако о силе кулаков уж точно не свидетельствуют, в этом и Никита Афанасьевич, и Афоня могли вполне убедиться. Как-то так вышло, что они, не задавая лишних вопросов, оба разом набросились на неожиданного гостя... вернее, на этого внезапно появившегося фехтовальщика, который пытался тыкать в Никиту Афанасьевича шпагой. А поскольку шпаг у них при себе не имелось, работали кулаками. То есть сначала оружие было ловким приемом (назывался сей прием «палка суковатая, на земле валявшаяся») из рук незнакомца выбито, ну а потом в ход пошли исключительно кулаки, которыми и Никита Афанасьевич, и Афоня владели весьма ловко, всяко лучше, чем незнакомец... результатом чего и стала победа – полная и окончательная, но весьма кровопролитная. И повлекшая за собой человеческие жертвы... во всяком случае – одну. Именно поэтому так испуганно и воскликнул Афоня:

– Да не убили ли вы его?!

– Я?! – возмущенно повернулся к нему дядюшка. – Экая наглость! Да моего тут участия, в виктории сей, практически не было. Я просто не мог поспеть за вашими мелькавшими кулаками. Вы с такой лютостью накинулись на сего несчастного...

– Несчастного? – возопил Афоня. – Ничего себе! Да вы, кажется, позабыли, что сей «несчастный», как вы его называть изволите, едва только не вонзил в вашу грудь острие своей шпаги. И кабы не моя вам преданность, кою вы «лютостью» обозвали, вам совсем худо пришлось бы! Я токмо ради вас... я ради вас токмо... – И при этих словах Афоня даже задохнулся от переполнявших его чувств, даже поперхнулся и закашлялся так, что Никита Афанасьевич принужден был чувствительно похлопать его по спине, дабы помочь продышаться.

– Что же это получается? – усмехнулся он наконец. – Незнакомец сей накинулся на меня со шпагой, дабы защитить вас. Вы полезли на него с кулаками, защищая меня. А я, выходит, тут и ни при чем? Этакое яблоко раздора.

Афоня поспешно кивнул:

– Именно так! Именно что яблоко раздора! Недосыгаемое, недостижимое и такое желанное...

И голос его снова задрожал от нежности и вожделения.

– Ах, да оставьте вы ваши глупости, – отмахнулся Никита Афанасьевич, ничуть не ощущая себя польщенным. – Не до них, поверьте. Суть ведь в том, что мы с вами – из самых лучших побуждений! – отмузили незнакомца до полусмерти. Вот уж, воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад! А если, храни господь, избили мы его не до полу-, а до полной смерти? Тогда как быть? Кошмар, ей-богу. Главное, обидно, что имени-прозвания его не знаем, не ведаем... случилось мне на войне, конечно, убивать тех, кого даже толком разглядеть не мог, но здесь... не по себе, тошно мне от этого.

– Может быть, поглядеть в его карманах? – нерешительно предложил Афоня. – Правда что: надо знать, кого хотя бы поминать, если он и в самом деле того... мертвый.

И Афоня на всякий случай перекрестился, а потом и еще раз, и другой, и третий... А поскольку крестился он то на манер православный (десницей, по-старинному выражаясь), то – на католический (шую), вот и вышло, что обе руки его оказались заняты, а потому неприятную обязанность – шарить за пазухой бесчувственного, а может статься, и мертвого человека – пришлось взять на себя Никите Афанасьевичу.

Сердито косясь на Афюню, так ловко увернувшегося от сего занятия, он вынул-таки из-под борта черной суконной куртки аккуратно сложенную бумагу и развернул ее. Да так и ахнул:

– Батюшки! Да сие по вашей части, Афоня! Письмо по-аглички писано!

Афоня мигом бросил креститься и подскочил к дядюшке.

– И правда! – воскликнул он, заглянув в письмо. – Ого, как интересно! – И принялся беззастенчиво разбирать сухой, угловатый, резкий почерк.

– Да читайте же вслух, – не выдержал Никита Афанасьевич. – Знаете же, что я по-аглички не столь уж силен.

В это мгновение Афоня поднял на него глаза, и Никиту Афанасьевича поразило их выражение. В них сквозил если и не страх, то величайшая обескураженность.

– Что? – мгновенно насторожился Никита Афанасьевич. – Да читайте вслух, говорено же!

Афоня повиновался:

«Писано в Санкт-Петербурге, такого числа, такого-то месяца, 1755 года.

Дорогой Гарольд, дорогой племянник, мое письмо ты получишь с фельдъегерской почтой в собственные руки, и сие должно убедить тебя в его превеликой важности как для тебя, так и для меня. Немедля по получении письма ты должен выехать в Россию, причем вопрос об отъезде нужно решить самым безотлагательным образом. О дате отъезда, а также о приблизительном времени прибытия в Санкт-Петербург уведомь того же фельдъегеря с тем, чтобы он сообщил сии даты мне. Я буду ждать тебя с превеликим нетерпением, кое, от души надеюсь, передастся и тебе, поскольку речь идет не только о защите интересов Его Величества короля здесь, в России, а значит, о преуспевании всей Великобритании, но и о твоей собственной карьере.

Помнишь, ты мечтал совершить нечто, что мгновенно возвысит тебя над прочими молодыми дипломатами, кои вынуждены страдать от рутины и предвзятого отношения стариков, как ты выражался о таких, как я, мастодонтах дипломатического искусства? Ну что ж, я предлагаю тебе совершить истинный подвиг, который, как то и положено, требует от тебя принесения некоторых жертв, но который также позволит тебе и возвыситься над равными. Причем возвыситься весьма значительно. Ведь если интрига, мною замысленная, окажется успешно осуществлена, мы будем вознаграждены Его Величеством, причем весьма щедро, у меня нет в этом никаких сомнений. Итак, Дональд, ты должен выехать незамедлительно. Чтобы побудить тебя не мешкать, скажу лишь, что провал эскапады, в коей ты должен принять участие, означает также мой несомненный провал, а может быть, и отзыв в Лондон, что в данной ситуации равносильно будет отставке, причем отнюдь не почетной. Суди же сам, что станется в таком случае с твоей карьерой и с благосостоянием, кои зиждутся на моей поддержке, а вовсе не на щедротах твоего отца, уродившегося величайшим скупцом на свете?

Не стану более тратить слов и времени, мой дорогой Гарольд, от души надеюсь встретиться с тобой в России как можно скорей. Уроки этого языка, которые я тебе некогда давал, теперь весьма пригодятся, ты освежи их в памяти: русские мигом делаются расположены ко всякому иностранцу, который затруднил себя знанием их дикарского наречия. Однако, молю, оставь свои предрассудки относительно этой страны, почерпнутые из записок Олеария и Горсея: все изменилось здесь со времен Joann Terrible, и его oprichniks уже не бегают

по улицам, как прежде, норовя срубить голову всякому встречному. Не меняется только русский человек: он по-прежнему и очень хитер, и весьма наивен одновременно, и ежели уметь этими его свойствами управлять, можно продвинуться весьма далеко и добиться больших успехов, что, как я надеюсь, нас с тобой ждет.

Итак, до встречи, Гарольд! Передавай от меня поклон твоему отцу и моему брату, остаюсь твой заботливый и любящий дядюшка Уильям Гембори».

– Хм! – воскликнул Никита Афанасьевич, выслушав все это. – Одни сплошные загадки! Кто таков, например, сей Joann Terrible?

– Да это же государь Иван Грозный, – с улыбкой пояснил Афоня. – Удивительно, что вы не поняли, услышав слово *orgichniks*, – ведь это опричники Ивана Васильевича имеются в виду! А вот кто такой Уильям Гембори, это и впрямь загадка...

– Да именно в этом никакой загадки для меня нет, – снисходительно усмехнулся Никита Афанасьевич. – Это английский посланник, проживающий в Санкт-Петербурге, хитрющая лиса!

– Английский посланник?! – побледнел Афоня. – Господи помилуй!

– А чего вы так испугались?

– Но как же... убить племянника дипломатического лица... это же международный скандал!

– Успокойтесь, Афоня, мистер Гарольд живехонек, – успокоил Никита Афанасьевич. – Когда я шарил под его курткой, обнаружил, что сердце бьется вполне ровно, он скоро очухается. Даже странно, что при своем дюжем сложении он оказался столь слабосилен. Хотя, с другой стороны, вдарил я его в челюсть полновесно... Однако что же это получается? Вы правы, Афоня, вы правы... международный скандал непременно разразится. Получается, что я напал на иностранца, родственника иностранного дипломатического чина, да еще, судя по всему, когда он находился при исполнении своих дипломатических обязанностей. Да, дело плохо!

Сказав сие, Никита Афанасьевич просиял. И Афоня уставился на него изумленно:

– Дело плохо, говорите? Чему же вы так рады?

– Да разве я рад? – Никита Афанасьевич изо всех сил нахмурился. – Я очень огорчен. Ведь, коли дело сие станет общеизвестно, английский посланник сэр Гембори сделает афронт ее императорскому величеству. Она разгневается и пожелает немедленно видеть дерзца и виновника происшествия. Меня доставят ко двору, и тогда, может быть...

– Размечтались! – грубо перебил Афоня, ревниво сверкая глазами. – Думаете, императрица лишь только узрит вас, так снова вами прельстится? Да ну, больно вы ей понадобились! Со времени вашей отставки таких, как вы, у нее небось перебыло несчетно! Да и что вы за красавец, подумаешь! Таким красавцам в базарный день цена – пятачок за пучок. Глаза б мои на вас не глядели! Да и ей больно-то нужно будет вас видеть? Скорей всего, сразу же, не тратя времени императрицына, повлекут вас в узилище, в кандалы закуют... Нет, тут нужно похитрей все обставить. Вы не правы, дорогой дядюшка: это именно мой удар в нос, а не ваш – в подбородок поверг сего хлипкого инглиша во прах. Моя вина – мне и ответ держать! А поскольку я принадлежу к числу подданных английского короля, меня по русскому закону никак не взять!

– Зато взять по закону английскому, – сухо ответил Никита Афанасьевич, явно недовольный таким заступничеством. – Тауэр вряд ли приятней для проживания, чем Петропавловская крепость. Поэтому умолкните, Афоня. За кого вы меня принимаете? Чтобы я позволил отвечать за свои проступки какому-то ребенку?!

– Я не ребенок! – яростно выкрикнул Афоня. – Я не ребенок, коли я вас...

– Вот и видно, что вы не ребенок, а сущее дитя, – торопливо перебил Никита Афанасьевич, явно испугавшись, что за сочетанием «я вас» последует некое опасное слово на букву «л». – Милое, доброе, но такое глупое еще дитя...

– И такое очаровательное! – прозвучал вслед чей-то хриплый голос, и Никита Афанасьевич с Афонею, испуганно переглянувшись, не тотчас сообразили, что это заговорил побитый ими англичанин.

Итак, он очнулся и заговорил, вдобавок по-русски! Пусть нелепо произнося, даже коверкая слова, но все же вполне разборчиво! И не только заговорил, но оказался даже настолько живуч, что ухитрился завладеть Афониной рукой и потянул ее к своим разбитым губам. Не удивительно, что Афоня руку отдернул – причем не без брезгливости, что весьма огорчило побитого.

– Клянусь, я не встречал никого красивее вас! – пробормотал он, точно в бреду. – С той минуты, как я вас увидел, я вас полюбил. И видеть, как сей русский мужик вас избивает, было для меня невыносимо! Именно поэтому я бросился на вашу защиту...

– Этот русский мужик – мой родной дядюшка, – холодно оборвал Афоня. – И никто меня не избивал, между нами происходила всего лишь дружеская потасовка. Урок боксинга, не более того!

– Ах, – пылко воскликнул англичанин, – зачем столь прелестному созданию боксинг?! Вам не к лицу даже малейшие проявления грубости. Вам нужно являть собой нежность и очаровательность, вас должны на руках носить, ручки вам целовать, лобызать землю, по которой ступают ваши милые ножки...

Афоня от таких излияний вовсе остолебенел, очень не поэтически разинув рот, а Никита Афанасьевич слушал-слушал, да и начал вдруг хохотать.

Гарольд Гембори с явным усилием поднялся с земли и принял позу оскорбленного достоинства.

– Что же тут смешного, сэр? – спросил он, выпячивая подбородок, отчего сия часть его лица сделалась вовсе устрашающей.

– Боже упаси, сэр, я совершенно не хотел вас обидеть, – спохватился Никита Афанасьевич. – И вовсе не над вами я смеялся, а над Афонею. Сколько раз я убеждал ее, что она со временем станет прехорошенькой девицей, знать не будет отбою от самых галантных кавалеров и сделает весьма удачную партию, однако племянница моя верить мне не хотела, полагала себя сущей уродиной, а потому щеголяла с утра до ночи в мужском одеянии и воинствующе чуждалась всякой женственности. Меня порой преследовала мысль, что я нахожусь в компании Розалинды, Виолы, Порции и всех прочих несчастных трагедии, во множестве порожденных как шекспировым пером, так и перьями прочих господ сочинителей. И вот вы сейчас блестяще подтвердили мою правоту, угадав девушку в мальчишке и разглядев в бутоне распускающуюся розу.

Афоня в ярости уставилась – да-да, вон как оно вышло-то, ну кто бы мог подумать?! Стало быть, отныне мы станем употреблять это имя исключительно в сочетании с формами женского рода! – итак, Афоня в ярости уставилась на дядюшку:

– Вольно вам надо мной издеваться! Где это вы красоту нашли? Была бы я красавицей, вы... вы бы...

Она осеклась, но смысл ее слов и так был прозрачен для Никиты Афанасьевича. Поэтому он хмуро покачал головой:

– Вы красавица, дитя мое, но...

И он умолк столь многозначительно, что это повергло Афонию в глубокую печаль. Она тоже умолкла, однако в эту минуту обрел дар речи Гарольд Гембори:

– Вы изволили сказать, что сей господин – ваш дядюшка? – обратился он к Афоне взволнованно. – Видимо, имя его – Никита Афанасьевич Бекетов?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.